

УДК 82-94  
ББК 63.3(0)53  
Н18

## «Великий излом» в восприятии Сергея Завадского

Публикуется по изданиям:

*Завадский С. В.* На пути к революции. Из архива моей памяти // Руль, Берлин. 1921. № № 323, 326. С. 2–3; 1922. № № 475, 476, 507, 509, 510, 538, 539.

*Завадский С. В.* На великом изломе. Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 годах // Архив русской революции. Берлин. 1923. Т. 8. С. 5–42; Т. 11. С. 5–73.

### Завадский С. В.

Н18 На пути к революции: Из архива моей памяти; На великом изломе: Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 годах / вступ. ст. А. В. Лиманова. — М.: Кучково поле, 2016. — 304 с. — (Библиотека русской революции).

ISBN 978-5-9950-0698-5

Воспоминания прокурора Петербургской палаты Сергея Владиславовича Завадского (1871–1935) посвящены одному из самых сложных периодов в русской истории — последним двенадцати годам Российской империи. В период между двумя революциями автор, став свидетелем ключевых событий того времени, а после Февральской революции заняв должность при Временном правительстве, вспоминает малоизвестные подробности из жизни и деятельности современников, правительства, Сената и других учреждений, знакомых ему по роду деятельности.

УДК 82-94  
ББК 63.3(0)53

ISBN 978-5-9950-0698-5 © Лиманов А. В., вступ. ст., 2016  
© ООО «Кучково поле», 2016

Автора представленных вниманию публики воспоминаний, блистательного русского правоведа Сергея Владиславовича Завадского можно без тени сомнений назвать питомцем Судебной реформы 1864 года. Именно его отец, также юрист, Владислав Ромулович Завадский (1840–1910) был одним из инициаторов и проводников либеральной реформы. И вместе с первыми поучениями отца Сергей Владиславович впитал уважение к духу законов, стремление к достижению правосудия. Недаром одним из любимейших афоризмов автора является латинское изречение — *fiat iustitia et pereat mundus* (пусть разрушится мир, лишь бы свершилось правосудие). И в самом деле, как на глазах у потрясенного законника рушится мир, казавшийся незыблемым прежний, старый, уютный мир. При этом сам прокурор Завадский не думает, пожалуй, ни о чем другом, кроме одного: да исполнится буква закона!

Русский правовец и общественный деятель Сергей Владиславович Завадский был, с одной стороны, великолепным профессионалом, знатоком законов, с другой стороны, блистательным дилетантом — любителем русской словесности, филологом и языковедом. Родился Завадский в Казани 18 февраля 1871 года (по старому стилю). Свое происхождение

Завадский вел от старинного польского шляхетского рода Рогаль-Завадских. «Род этот может быть назван древним: достоверно, от сына к отцу и далее, возводимый до самого начала XVI столетия, он по преданиям восходит даже до XI, до времени первого крестового похода. Позже он дал двух когда-то известных ученых (медика Станислава, ректора Краковского университета при Сигизмунде II Августе, и юриста Федора) и двух дипломатов (одного посла)... — так сообщает сам Завадский в своей автобиографии. — Наша линия (грудовская) давно переселилась из Малой Польши сперва на Волынь, а затем в Подолию»\*. Мать Завадского — урожденная Надежда Сергеевна Писарева (1841–1915), появилась на свет в московской дворянско-купеческой семье.

Отец Завадского, Владислав Ромулович (Ромуальдович) Завадский посвятил себя судебному делу, стойко защищая основные начала судебной реформы 1864 года. Пока Владислав Завадский служил в Казани товарищем прокурора местной судебной палаты, прокурором окружного суда работал известный юрист Анатолий Федорович Кони. С 1900 года Завадский-отец служил первоприсутствующим сенатором департамента герольдии. У Завадского-отца было два брата: Владимир (1846–1913) — известный юрист и Михаил (1848–1926) — известный педагог, оба также входили в состав Сената.

В 1889 году Завадский окончил гимназию с золотой медалью. С юных лет у будущего правоведа обнаружился интерес к античной литературе. В журналах публиковались принадлежавшие перу Завадского переводы стихов Катулла, Горация и Марциала под псевдонимом «Згадай-Северский».

\* РО ЦНБ Д. 2. Л. 7–8.

В гимназиях Российской империи уделялось особое внимание преподаванию древнегреческого и латинского языков. При этом изучались не только сами древние языки, но и подробно рассматривались история, быт и культура античности. Не изучив латыни, гимназист не мог и мечтать о продолжении учебы в университете, — а для человека, выбравшего юриспруденцию в качестве будущей карьеры, латинский язык был важнейшей дисциплиной, так как древнеримская цивилизация считается родоначальницей науки юриспруденции. В наши дни остается сожалеть, что студенты юридических вузов не уделяют пристального внимания изучению латинского языка. Если не понять жесткую логику латыни, трудно понять неумолимую логику законов.

В 1889–1893 годах Сергей Завадский окончил курс юридического факультета Московского университета, параллельно прослушав курс лекций на историко-филологическом факультете. Круг интересов Сергея Завадского был самым разносторонним, но вердикт отца оказался строгим, если не сказать жестоким: сын должен делать карьеру исключительно в области юриспруденции. Несмотря на мнение отца, Сергей Завадский сохранил интерес к русской и античной словесности. В 1894–1897 годах молодой юрист работал в качестве кандидата на судебные должности при петербургском суде и в комиссии по пересмотру судебных уставов. В 1897–1906 годах Завадский занимал уже пост товарища прокурора в Москве и Санкт-Петербурге, прокурора в судебных палатах города Великие Луки и в Новгороде. Именно в Новгороде Завадский стал свидетелем событий первой русской революции, которая сильно потрясла его. Завадский понимал, что реформы

неизбежны, но он осознавал, что отсталую, архаичную Россию ждут немалые испытания.

В 1906 году Завадский был назначен членом Петербургской судебной палаты, после чего занимал должность обер-прокурора уголовного и гражданского кассационного департамента Сената и председателя департамента Санкт-Петербургской судебной палаты. С министром Щегловитовым Завадский не сработался, так как к тому времени заслужил репутацию левого.

В 1915 году Завадский был назначен прокурором Петроградской палаты. На этом посту он узнал новость об убийстве Распутина. Это происшествие вызвало смятение в рядах государственных органов. Всего за месяц до Февральской революции 1917 года Сергей Завадский стал сенатором гражданского кассационного департамента. Вскоре после событий Февральской революции 1917 года Завадский стал первоприсутствующим гражданского кассационного департамента, а 11 марта того же года министр юстиции А. Ф. Керенский по рекомендации Максима Горького назначил его товарищем председателя Верховной следственной комиссии по расследованию преступных деяний представителей старого режима. Особый акцент в своих воспоминаниях Завадский делает на знакомстве с Горьким. Ценитель русской литературы, тонко оценивавший красоту русского слова, Сергей Завадский близко сошелся с человеком, которого при жизни называли классиком. В составе комиссии по расследованию деяний представителей старого режима правовед остался ненадолго. Предчувствуя расправы над крупными функционерами царской власти, неугодными новому режиму, Завадский вскоре решил выйти из состава этой комиссии. Во второй половине мая он

уволился, но продолжал состоять в Комиссии по восстановлению судебных уставов.

После событий октября 1917 года Сенат был распущен. Поэтому в начале 1918 года Завадский покинул Петроград и переехал в Харьков, недалеко от которого располагался принадлежавший его жене хутор. В мае 1918 года министр юстиции правительства гетмана Скоропадского М. П. Чубинский попросил Завадского войти в состав кабинета министров. Завадский выехал в Киев и принял назначение товарища министра юстиции в составе последнего украинского правительства при Скоропадском. В воспоминаниях Завадский старательно избегает слова «украинский», стараясь употребить вместо него заместительный термин «южнорусский».

Осенью 1919 года Завадский стал товарищем председателя особой комиссии при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России по расследованию злодеяний большевиков. В сентябре 1921 года Сергей Завадский покинул Россию. Вначале вынужденный эмигрант нашел приют в Польше, где зарабатывал на жизнь частными уроками. В 1922 году Завадский переехал в Чехословакию. В Праге он прожил до самой смерти. Позже к нему смогла перебраться из Москвы жена Калерия Ивановна вместе с падчерицами. В столице Чехословакии Завадский преподавал право на юридическом факультете пражского Русского народного (свободного) университета. Постепенно бывший сенатор стал популярным членом колонии русских эмигрантов в столице Чехословакии. Он печатал статьи на различные темы в эмигрантских журналах, участвовал в эмигрантских комитетах и обществах, много писал.

В эмиграции Завадский активно занимался изучением классиков русской литературы. Не

оставлял он и переводы из античной литературы, работая над творениями Софокла и Эсхила. Проводя немало времени за написанием статей и составлением лекций, посвященных Тургеневу, Достоевскому, Толстому, Салтыкову-Щедрину, Чехову, Завадский не переставал задаваться вопросом: каким образом на его глазах рухнул тот «дивный прежний» мир, который он так любил, почему ему и его друзьям приходится переносить разлуку с родиной? Вопросы, посвященные неотвратимости русской революции, неоднократно поднимаются в его воспоминаниях.

Жизнь на чужбине свела Завадского с поэтессой Мариной Цветаевой. В письме к подруге Ольге Елисеевне Колбасиной-Черновой Цветаева писала: «Есть у меня новая дружба, если так можно назвать мое уединенное восхищение человеком, которому более 60 лет...»\*

Сергей Владиславович Завадский скончался 2 июля 1935 года. Похороны состоялись на Ольшанском кладбище в Праге. Внимательный человек, несомненно, обратит внимание, что на могиле имя выдающегося юриста и общественного деятеля выбито таким образом: *Сергей Владиславович Завадский*. Дело в том, что всю жизнь Завадский считал, что его отчество должно звучать как «Владиславович», так как, по его мнению, окончание «-ович» — это полонизм, не подходящий для русского языка.

\* \* \*

Исторический период, охватываемый воспоминаниями Сергея Завадского, является самым трагическим и самым недооцененным в истории на-

---

\* Цветаева М. И. Собрание сочинений в 7 т. М., 1995. Т. 6. С. 684.

шей страны. Ровно двенадцать лет прошло с начала первой русской революции до свержения монархического режима и разгула революционного вихря. С пятого по семнадцатый год двадцатого века, ни больше ни меньше — двенадцать лет. Но что это были за годы! Страна очнулась от многолетней спячки и совершила огромный рывок в своем развитии. В России появился законодательный орган — Государственная дума, политические партии и относительная свобода печати. В ходе реформ появилась надежда на то, что противоречия, не дававшие стране развиваться, сгладятся на пути конституционного развития. И в то же время в своде законов Российской империи, документе, хорошо известном прокурору Завадскому, было сказано, что Россия — страна самодержавная. После подписания исторического манифеста 17 октября 1905 года проснулись и реакционные силы, желавшие повернуть стрелки часов назад. Таков был сам император Николай II, таковым был и глава Министерства юстиции, под началом которого служил и сам Завадский, резко повернувший вправо после подписания манифеста министр Иван Григорьевич Щегловитов (1906–1915). При нем главное юридическое ведомство страны превратилось в настоящий «опричный двор», как об этом пишет Завадский. По аналогии с разделением Русского царства на земщину и опричнину в годы правления Ивана Грозного (XVI век), Сергей Завадский называет «опричниной» тех чиновников и юристов, которые соглашались с политикой Щегловитова, и «земщиной» тех, кто нового министра не принял. К числу «земщины» автор решительно причисляет себя и свой круг общения.

На страницах воспоминаний автор задается вопросом, каким образом события февраля 1917 года

# I

Летом 1899 года отец мой, тогда временно управлявший Министерством юстиции, получил от министра внутренних дел И. Л. Горемыкина приглашение пожаловать вечером к нему на Аптекарский остров посовещаться «о порядке отбывания студентами воинской повинности».

Когда Горемыкин — я перехожу к более близкому прошлому — сидел в Петропавловской крепости, где его с другими министрами павшего режима держал тогдашний повелитель России А. Ф. Керенский, не как министр юстиции, а (его подлинные слова, сказанные в моем присутствии) «на правах Марата», я был из числа тех, которые ходатайствовали об освобождении старика. Когда он был выпущен из крепости и просил меня исхлопотать в верховной комиссии для него разрешение выехать в Сочи, я и эту просьбу исполнил, хотя и старался уговорить его остаться в Петрограде, так как «министры незаметнее в столице, чем в провинции, а лучше пока быть не на виду». Упоминаю о том с целью снять с себя подозрение, что я пристрастен к нему в дурную сторону, но не потаю, что всегда оценивал его, как одного из типичнейших деятелей на революцию, то есть тех сановников, которые расшатывали старый строй, способствуя его ухудшению.

Горемыкин не любил себя беспокоить чем-либо; будучи министром внутренних дел, он завел себе артистически исполненный гриф, и я сомневаюсь, чтобы он сам ставил его под бумагами вместо собственноручной подписи. А как он вникал в дела, показывает рассказ сенатора Окулова, его товарища по училищу правоведения. Кто-то (фамилию я теперь позабыл) просил разрешить ему открыть музыкальную школу в Киеве; Министерство внутренних дел дало разрешение, но поставило для евреев процентную норму; проситель, будучи знаком с Окуловым, обратился к его содействию; Горемыкин обещал Окулову пересмотреть дело, соглашаясь с ним, что главным контингентом учеников будут, конечно, евреи и что незачем ограничивать число их нормой в частной школе, специально музыкальной, никаких прав не дающей; дело было пересмотрено, и процентная норма... была оставлена по-прежнему: Горемыкин утвердил доклад упорного начальника отделения, не читая или не слушая. Такое отношение Горемыкина к делу было в Петербурге известно тогда же. По крайней мере, я знаю, со слов отца моего, два отзыва о Горемыкине. Первый принадлежит великому князю Михаилу Николаевичу. Дело было так: в общем собрании департаментов Государственного Совета рассматривался законопроект Министерства внутренних дел: за министра приехал товарищ министра князь Оболенский, который на вопрос великого князя, почему нет самого министра, ответил, что он занят неотложной работой по министерству; на это великий князь, в присутствии всех собравшихся членов Государственного Совета и представителей министерств, громко произнес: «Как же, как же! я, когда ехал сюда, обогнал его на Морской: идет и за собою ведет болонку». Другой

отзыв принадлежит Победоносцеву: на вопрос отца моего, почему не воспрепятствовал Победоносцев назначению в министры кого-то (теперь не помню), которого он так бранит, Победоносцев ответил, что не вмешивается в назначения министров после того, как осрамился, проводя в министры внутренних дел Горемыкина, «хотя, — прибавил Победоносцев, — я это сделал, чтобы помешать Сипягину, который все-таки хуже, чем Горемыкин».

Безразличие Горемыкина к делу было иногда поистине преступным. Мне сын двоюродного его брата, иркутского генерал-губернатора, А. А. Горемыкин, тогда товарищ прокурора петербургского окружного суда, умерший товарищем обер-прокурора Сената, объяснил, почему перестал бывать у своего дяди: во время завтрака у министра на даче племянник стал просить за одну курсистку, неправильно, по мнению его, привлеченную и арестованную жандармами; дядя сначала отмалчивался, а затем сказал равнодушно: «Что же, мне, по-твоему, всю систему из-за паршивой девчонки менять?»

Вот к такому-то министру и был вызван отец мой, как управляющий Министерством юстиции, на совещание. Ехал отец всего на какой-нибудь час, уверенный, что вопрос идет о повышении возраста, до которого студентам дается для окончания курса отсрочка по отбыванию воинской повинности. Вернулся отец поздно ночью, взволнованный, как я редко его видел.

У Горемыкина он застал министра финансов Витте, министра народного просвещения Боголепова, министра государственных имуществ Ермолова и военного министра Куропаткина. Докладчиком выступил вице-директор департамента полиции Семякин. Оказалось, что Горемыкин предполагает поднести

государю на подписание правила о порядке, в каком будут студенты, участвующие в беспорядках, сдаваемые в солдаты. Присутствующие, кроме отца, были, по-видимому, осведомлены о таком предположении Горемыкина или, вернее, департамента полиции. Но возражал один Куропаткин, и то с точки зрения чисто военной: звание солдата почетное, а хотят вернуть времена сдаточных; кроме того, если студенты, отданные принудительно в солдаты, действительно государственные преступники, то они внесут в армию дух разложения. Отец, присоединившись к Куропаткину, стал говорить, и принципиально, против этой меры. Горемыкин возразил, что меры в принципе уже одобрены государем. Куропаткин и отец настаивали, чтобы и их мнения были отмечены при докладе государю, но Горемыкин сослался на волю государя, по которой будто бы надо представить не только мнение большинства. Витте стал уговаривать отца согласиться: эти правила нужны лишь для острастки, а применять их не будут. Отец ответил, что не понимает издания такого акта, который решено заранее не применять, и напомнил, что нынешние министры не вечны и преемники их намерениями предшественников не связаны.

Никого, кроме Куропаткина, отец не убедил. Было предложено приступить к рассмотрению проекта по статьям. Тогда отец указал, что во всяком случае приемлемы статьи, согласно которым:

- 1) пребывание в армии «сдаточным» не идет в зачет отбывания воинской повинности;
- 2) «сдаточные» могут быть обращаемы и к строевым должностям, то есть оказаться даже денщиками;
- 3) неспособные к военной службе могут быть посланы в Восточную Сибирь на 5 лет.

Замечания отца возбудили шум, особенно последнее, Горемыкин заявил, что такой статьи в правилах нет, на что отец возразил, что он лишь расшифровывает словами глухую ссылку статьи на соответствующий закон. Когда Семякин должен был признать правильность указаний отца, раздались голоса за отложение постатейного рассмотрения правил до следующего раза.

Отец ходил сам не свой: ему казалось дико, что правила пройдут, хотя и в смягченном виде. Между тем к нему приехали Ермолов и Победоносцев. Ермолов заявил, что он будет голосовать заодно с отцом по вопросам отдельных статей, но, очевидно, не думал говорить против самых правил государю при личном докладе. Победоносцев возмущался тем, что его не вызвали на совещание, хотя у него есть духовные академии, тоже высшие учебные заведения со студентами, но и он явно не предполагал что-либо докладывать государю по этому поводу. А отец, как калиф на час, личного доклада не имел, если его не вызывал сам государь. Следующее заседание дало отцу новых сторонников: правила были смягчены значительно. Но отец оставался подавленным: его угнетала самая возможность издания подобных правил. Со второго заседания он возвращался в карете Боголепова. Тот жаловался, что министр народного просвещения не имеет казенной квартиры. Отец отвечал, что это и лучше: меньше одним искушением остаться в должности долее, чем бы следовало. Воротившись, он тогда же говорил мне, что правила применит первый, а то и один Боголепов, а уж ни в каком случае не Витте, который только с департаментом полиции почему-то не хотел ссориться. Как известно, слова отца оправдались: Боголепов применил правила и был убит.

Через несколько дней правила, утвержденные государем, были присланы отцу для обнародования. Отсылая в печать копию, отец опустил помету государя об утверждении. Я до сих пор помню его слова: «Не могу я видеть этой пометы. Пусть правила печатаются без нее. Сами же мы подводим государя, а потом за его имя прячемся. Наша это вина, а не его».

Правила так и были напечатаны без царской пометы, и зоркий глаз Семякина это, кажется, заметил: по крайней мере, я тогда же с разных концов слышал, что в департаменте полиции говорят о левизне отца.

Как мало было нужно тогда для того, чтобы слыть красным. Впрочем, красного из отца так и не сделали, а «бестактным» он оказался, и для бестактности его нашелся скоро приют: департамент герольдии правительствующего Сената.

## II

Это было в 1899 году. Весна уступала место лету. Скончался только что наследник-цесаревич Георгий Александрович, и у царя родилась третья дочь.

Отец мой, тогда временно управлявший Министерством юстиции, и я, провинциал, приехавший в родную семью, сменяли друг друга у постели лежавшей при смерти моей матери.

Как-то вечером отец сидел около больной, а я работал в его кабинете, когда раздался звонок телефона. Я взял трубку.

— Сенатор Завадский, управляющий Министерством юстиции, дома? С вами говорит Фредерикс, ми-

нистр двора. Передайте отцу, что государь император вызывает его в Петергоф по очень важному вопросу. Надо ехать немедленно. Экстренный поезд будет ждать.

Отец поспешно выехал и вернулся домой уже утром, не ранее, если не позже, семи часов.

Передаю дальнейшее с его слов.

В Петергофском дворце отец застал кроме барона Фредерикса еще Победоносцева. Государь, бывший с ними, не дождался приезда отца и ушел во внутренние покои, сказав министру двора, чтобы он явился, хотя бы среди глубокой ночи, с решением, к которому придет совещание.

Предметом обсуждения была редакция высочайшего манифеста по случаю кончины великого князя Георгия Александровича. Барон Фредерикс предлагал объявить в манифесте наследником-цесаревичем великого князя Михаила Александровича, а Победоносцев, как юрист, утверждал, что, при отсутствии у государя сына, речи о провозглашении кого-либо наследником престола быть не может. Государь не высказывался ни за Фредерикса, ни за Победоносцева, и тогда Победоносцев предложил вызвать управляющего Министерством юстиции в качестве как бы эксперта.

Отец присоединился к мнению Победоносцева, ссылаясь на прямой текст присяги, приведенный в законе на случай, когда у царствующего императора нет нисходящего наследника: «и законному его императорского величества престола наследнику», без поименования кого бы то ни было. К этому отец добавил, что для него сомнительны права великого князя Михаила Александровича на престол даже и в том случае, если у государя так и не будет сына; по мысли отца, надо руководиться не кодификацией свода законов, а подлинным текстом акта императора Павла I, где прямо сказано, что, за отсутствием



у него сыновей, вступает на престол старшая дочь; и отец мой полагал, что каждый царствующий император должен ставить себя на место Павла. Победоносцев горячо восстал против этой, как он выразился, «ереси», а Фредерикс стоял на своем.

Вместо двух оказались три редакции манифеста. Отец предлагал ограничиться в манифесте прочувствованными словами о смерти великого князя, Фредерикс хотел провозглашения Михаила Александровича наследником-цесаревичем, а Победоносцев соглашался упомянуть о праве Михаила Александровича на престол в случае, если у государя не родится сын.

Было уже очень поздно, когда Фредерикс собрался идти к государю. Победоносцев намеревался пойти вместе, но Фредерикс воспротивился этому, ссылаясь на то, что ему одному повелел государь принести решение совещания. Победоносцев подчинился и остался с моим отцом, которому только заметил, что Фредерикс хочет настоять перед государем на своем и тем угодить вдовствующей императрице.

Фредерикс, однако, вернулся с подписью государя под редакцией, писанной Победоносцевым. Отец, еще в начале совещания давший знать в сенатскую типографию о предстоящем срочном наборе, взял манифест и сдал его текст печатать, захватив в типографию по дороге домой.

Дня два-три спустя государь вновь вызвал отца моего к себе в Петергоф. Когда отец вошел в царский кабинет, в руках у государя были основные законы. Речь опять шла о порядке престолонаследия. Отец высказал мнение, что провозглашение великого князя Георгия Александровича наследником-цесаревичем было не только не согласно с прямым смыслом закона, но и повергало подданных, не же-

лающих относиться к присяге легко, в большое затруднение: если бы Георгий Александрович остался жив, а у государя родился бы сын, то люди, сознающие святость присяги, не могли бы присягнуть новому наследнику, пока их не разрешил бы прежний от присяги, которую они дали ему; конечно, великий князь разрешил бы, но нельзя ставить вопрос о престолонаследии в зависимость от доброй воли и согласия лица, уже несомненно утратившего право на престол в силу одного факта рождения настоящего наследника; что-нибудь одно: или с присягою нечего считаться, а тогда незачем к ней и приводить, или же ее нельзя давать сперва одному, а затем, несмотря на это, и другому. Государь согласился с отцом и сказал, что, подписывая свой первый манифест в Ливадии, не мог и думать, что за составление его взялись лица, не знавшие законов. По вопросу о правах на престол старших дочерей при отсутствии сыновей у царствующих императоров отец, развивая свою мысль и не скрывая ее спорности из-за неустановленности основного вопроса, какую силу имеет первое издание свода законов вообще и в частности относительно акта императора Павла, добавил, что сам он склоняется к решению в пользу дочери не только по юридическим, но и по чисто практическим соображениям: боковые наследники обычно мало подготовлены к бесконечно трудным обязанностям царя, а дочь, пока нет у государя сына, может своевременно быть обучаемая всему, что должен знать наследник. Государь возразил, что, по мнению его, на самодержавном престоле лучше быть мужчине, но слова отца, видимо, запомнились государю, так как Победоносцев вскоре после этого говорил отцу, что убеждал государя «выбросить из памяти непоправимую ересь Завадского».

Должно пшено Господнее в зубах  
Звериных измолотья, чтобы Господним  
Быть чистым хлебом.

*Жуковский*

У меня нет будущего: я стар. У меня нет настоящего: я беженец. Мысль невольно обращается к прошлому, преимущественно недавнему, и я с горечью убеждаюсь, что возраст и мытарства последних лет успели сильно погнуть мою память, которая когда-то (и так ли уж далеко то время?) была почти безупречной.

И хочется закрепить на бумаге, что еще помнится, и берет сомнение. Это ничего, что я — не более, как «голос из толпы»: Герцен, по-моему, прав, утверждая, что писать воспоминания предоставляется всякому, лишь бы он умел рассказывать, да и было о чем рассказать. Но вот беда: ни клочка, который бы способствовал устранению туманных пятен и слепых точек памяти, ни раны, которая бы закрылась в душе окончательно и перестала болеть.

Ну, что ж, — постараюсь ограничиться островками одной Wahrheit\*, не прибегая даже к безразличной Dichtung\*\*, хотя бы это и вредило зодческой целостности изложения. А на душе у меня, — пусть боли и много, — накипи озлобления и ненависти

---

\* Wahrheit (нем.) — правда.

\*\* Dichtung (нем.) — вымысел.

не образовалось; надеюсь, что это мне поможет удержаться в пределах среднего беспристрастия; во всяком случае, хочу быть скупым на характеристики и осторожным в приговорах, а если, передавая события, не удержусь — предчувствую — и от высказывания суждений, то намерение мое таково, чтобы они не повисали на людях репейниками. Замечу, кстати, что я не забыл ядовитых слов Щедрина о ценности размышлений в «генеральских» воспоминаниях\*, но когда пишешь о пережитом, внутреннее от внешне-го часто неотделимо.

Вольных искажений не допущу, за невольные ошибки заранее прошу меня простить.

Я кончил: достоинства предисловий, в моих глазах, измеряются их краткостью.

А теперь начинаю. «Дай — оглянусь».

\* Речь идет о словах великого сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889).

## Канун революции

И вот дурной конь понес меня,  
и тут прорвало все плотины.

Платон

Последний год старого строя застал меня в должности прокурора Петроградской судебной палаты. Каждый глядит лишь в свое окно и видит часть того, что совершается вокруг, но тогда мое окно было достаточно широко и выходило не на задворки, а на улицу. Многому за этот год был я свидетелем, и кое-что из воспоминаний моих, относящихся к тому времени, заслуживает быть отмеченным на письме, как бы в дверях повествования о самой революции.

Уже распатывались скрепы, надламывались спайки, слышался везде зловещий треск, — весь государственный уклад разваливался.

Правительство не ставило себе принципиальных задач: идти вперед было ему страшно (да, пожалуй, и поздно), идти назад — было стыдно. Оставалось одно: отдаваться бессмыслице случайной работы изо дня в день, уподобляясь лошадям на топчачке, с которого никуда нет привода.

Отсутствие у правительства программы было на первый взгляд не так заметно из-за лихорадочной смены министров. Моя стареющая память, кого-либо, может быть, и пропускающая, насчитывает за один 1916 год четырех председателей Совета министров (И. Л. Горемыкина, Б. В. Штюрмера, А. Ф. Трепова и князя Н. Д. Голицына), четырех министров

внутренних дел (А. Н. Хвостова, Б. В. Штюрмера, А. А. Хвостова и А. Д. Протопопова), трех министров иностранных дел (С. Д. Сазонова, Б. В. Штюрмера и Н. Н. Покровского), трех военных министров (А. А. Поливанова, Д. С. Шуваева и ген. Беляева) и трех министров юстиции (А. А. Хвостова, А. А. Макарова и Н. А. Добровольского)\*. Но самые смены эти едва ли могли быть так часты, если бы на очереди стояло осуществление хоть небольшой программы.

А чем чаще менялись министры, тем хуже шло даже повседневное дело, тем меньше с ними считались, тем труднее становился выбор достойного или, по крайней мере, удовлетворительного.

Все это едва ли требует доказательств. Менять машиниста на ходу поезда нельзя, и не всегда новый машинист пускает в ход поезд без досадного толчка. В частности, нельзя было смотреть спокойно на перемены военных министров во время величайшей войны и притом после отступления наших войск из Галицкой Руси.

Также понятно, что не стоит не только слушаться калифа на час, но и прислушиваться к нему. Скажу про себя, как прокурор столичной палаты, я по заведенному порядку обязан был представляться каждому председателю совета министров. Я и виделся с И. Л. Горемыкиным и Б. В. Штюрмером, а когда во главе кабинета встал А. Ф. Трепов, я уже к нему не поехал; не поехал я и к князю Н. Д. Голицыну, хотя и был с ним знаком. И не хотелось мне представляться вновь не потому, что два первых представ-

\* Известный политический деятель, черносотенец В. М. Пуришкевич охарактеризовал частую смену министров в годы Первой мировой войны как «министерскую чехарду». Эта фраза стала крылатой.

ления свелись исключительно к разговору о моем покойном отце: такой разговор, лишенный всякого служебного значения, мог и не повториться, — а просто мне казалось безразличным все, что бы я ни услышал от лица, берущего бразды правления, по всей видимости, опять на самое короткое время.

Что же касается трудности выбора, то у нас (это, я думаю, бесспорно) людей, годных в министры, хотя бы с оговорками, всегда было мало, а потому увеличившийся спрос на министров не мог не понизить требований, предъявляемых к уровню подготовки кандидатов. Если и основательно указывают, что советские деятели почти сплошь берутся явно не за свое дело и что Временное правительство допускало такого военного министра и верховного главнокомандующего, как безнадежно штатский А. Ф. Керенский, то все же надобно признаться, что начало этому было положено назначениями Б. В. Штюрмера и А. Д. Протопопова. Я не буду голословен, но ограничусь двумя примерами, по одному для каждого. Штюрмер на посту министра иностранных дел обнаружил неведение, кому принадлежат Салоники\*: исход балканских войн остался ему неизвестным\*\*. А министр внутренних дел Протопопов домогался, чтобы военное министерство разрешило въезд в Россию немецкому шпиону; разумеется, об измене руководителя русской внутренней политики не может быть и речи: просто немецкий шпион еще перед войной, как хиромант, предсказал А. Д. Протопопову, что он встанет во главе правления, и Про-

\* Показание, данное в верховной следственной комиссии лицом, полная осведомленность которого стоит вне сомнения. Не называю его, так как полагаю, что свидетели вправе притязать на оглашение своих показаний лишь на суде. (Примеч. авт.)

\*\* Город Салоники (Фессалоники) был отвоеван Грецией у Османской империи в годы Балканских войн 1912–1913 годов.

топопов хотел теперь знать, исполнилось ли уже пророчество, или же ему предстоит дальнейшее возвышение\*, — а кто такой этот хиромант, министру внутренних дел заботы было мало.

И еще одним пороком страдало правительство: оно ни на кого не опиралось; оно не удовлетворяло ни крестьян, ни рабочих, ни торгово-промышленные круги, ни чиновничество, ни общественных деятелей, ни землевладельцев; не удовлетворяло оно ни фронт, ни тыл, ни левых, ни правых; не удовлетворяло, по-видимому, и самого царя. Не будучи уверено в своей правоте, оно не могло внушить к себе уважения смелому; стыдясь своей неправоты, оно не могло показаться сильным трусливым: власть крепка только тогда, когда массы или еще верят в ее безупречность, дающую ей нравственный авторитет, или убеждены в совершенной ее бессовестности, позволяющей ей не задумываться перед средствами расправы.

Правда, этой беде долго помогала удивительная косность русских людей, как-то бессознательно предпочитающих быть обывателями, а не гражданами, стадом, а не обществом, но такая государственная невоспитанность огромного большинства, даже в образованных кругах, была выгодна правительству, когда население боялось, не будет ли от новшеств еще хуже. А между 1905 и 1916 годами произошла наглядная перемена, и все мы слышали перед революцией повсюду одну и ту же фразу: «хуже не будет». Слова эти были в корне ошибочны: всегда может быть хуже, потому, что дно у чаши бедствий по мере их накопления, опускается. Но такое настроение в массах должно было наводить на размышления:

\* Об этом подробнее будет рассказано дальше (во второй главе второй части). (Примеч. авт.)

инертная обывательская толща, еще в 1905 году державшая дружественный нейтралитет по отношению к правительству, очевидно, собиралась в следующей схватке старого и нового осчастливить этим нейтралитетом уже революционеров.

Уцелел ли по крайности последний столп старины: обаяние царского имени в широких народных низах? Пусть на правительство злобятся, но царь-то, царь? Многие горячо хотели верить, что уцелел. Верил этому, кажется, и сам несчастный царь; но вера его покоилась на таком зыбком основании, как всеподданнейшие доклады А. Д. Протопопова и выкрики крайне правых организаций. Всего за несколько дней до крушения старого строя министр внутренних дел отослал императрице записку о настроении умов в государстве и утверждал в этой записке, что крестьянство беззаветно предано царю и его семье и что всякая революционная попытка будет смыта волною народного негодования. Увы, сам Протопопов потом\* сознался, что писал заведомую ложь: хотел будто бы успокоить и ободрить. В действительности царское имя потускнело в народе, и потускнело оно также за последнее перед революцией десятилетие\*\*. Хотя и говорят, что примеры не доказательство, но я без примеров — ни на шаг, и опять-таки приведу здесь два. В 1905 году кучка революционеров устроила митинг, если не ошибаюсь, около станции Веребье (Николаевской железной дороги, в пределах Новгородской губернии)\*\*\*;

\* На допросе в верховной комиссии. (Примеч. авт.)

\*\* Теперь я замечал признаки обратного течения. (Примеч. авт.)

\*\*\* Ныне Маловишерский р-н Новгородской обл. Станция Веребье находилась на месте обхода близ Веребьинского подъема. В 2001 году был построен спрямленный участок пути Октябрьской железной дороги, в 2008 году пути Веребьинского обхода были демонтированы, и станция Веребье прекратила существование.

пока они говорили крестьянам против помещиков, слушатели выражали полное свое одобрение; но вот оратор перешел к тому, что не будет царя; крестьяне насторожились: как же это так? Я пишу по памяти, но рассказываю не анекдот, а факт. До сих пор помню, как крестьянин-свидетель с искренним негодованием говорил: «Мы спрашиваем, как же можно без царя, а он возьми да покажи на Никиту; вот, говорит, хоть его можно будет заместо царя выбрать. Это Никиту-то царем! Ну, мы и того...» Я увлекся, по примеру Фукидида, и привел будто бы подлинные слова, но, право, против тона показания не погрешил ни на волос. Митинг был прерван; революционеры начали бить, и не на шутку: они бежали что-то около версты до станции, но и там крестьяне пытались продолжать избиение, которое прекращено было только вмешательством станционного жандарма. Это происходило в конце 1905 года, а в 1917 году, почти накануне революции, Тамбовский (кажется, не ошибаюсь) окружный суд разбирал заурядное дело о заочном оскорблении царя; главным свидетелем обвинения выступил степенный старик, седой дед; он показывал, как он унимал подсудимого; и, глядя ясными глазами на судей, свидетель произносит: «Зачем ты, говорю, царя-то трогаешь? Ты его, говорю, не трожь; он тут ни при чем. Ты ее ругай...» И здесь свидетель безмятежно, в заседании суда, начал поносить императрицу. Это была уже не пьяная и не мальчишеская брань, так что судьи растерялись: хоть новое дело сейчас же начинай\*.

Нет, грозных признаков было довольно. И все это нас обязывало. У нас и бывали мгновенья просвета.

\* Слышал тогда же от А. А. Миндера, в то время старшего председателя Саратовской судебной палаты. (Примеч. авт.)

Но мысль робка, а чувство властно. Многие совсем не допускали возможности революции: все как-нибудь обойдется. Многие видели ее неизбежность, — но не теперь же она, не завтра же будет. А она уже стучалась в дверь...

Я не задаюсь воспроизведением всего, что происходило на моих глазах в течение 1916 года, и предлагаю вниманию читателей лишь несколько отрывков. Постараюсь выбрать наиболее характерное для этой поры предсмертных судорог старого режима.

## 1. Дело Хрусталева-Носаря

С самого вступления моего в должность прокурора палаты и почти каждый день, принимаясь за рассмотрение вновь вступивших бумаг, находил среди них одно, а то и два прошения Хрусталева-Носаря.

Звук этого имени веет теперь поистине чем-то стародавним, а у некоторых оно, быть может, и вовсе выпало из памяти. Было, однако, время, когда оно наряду с именем Бронштейна властно навязало себя всему Петрограду, тогда еще Петербургу. Помощник присяжного поверенного Георгий Степанович Носарь (революционный псевдоним — Хрусталева) был председателем, а Бронштейн (ныне всем известный под фамилией Троцкого) — товарищем председателя того петербургского совета рабочих (без иных добавлений) депутатов, с которым в конце 1905 года сам Витте счел необходимым вести переговоры, прежде чем решился взять его членов под стражу.

Сосланный по суду в Сибирь, Хрусталева-Носарь от туда бежал за границу; он проживал в Париже, когда началась последняя европейская война. Хрусталева потянуло на родину, и он обратился к русскому

Больше мы, насколько я помню, никого не привлекали в качестве обвиняемого, но толковали, как теперь принято выражаться, в этой плоскости относительно нескольких лиц.

Мне тогда же говорили, со ссылкой на известного присяжного поверенного Н. П. Карабчевского, что А. Ф. Керенский думал о предании суду даже отрекшегося императора. От Керенского я того ни разу не слышал, но в нашей комиссии Н. К. Муравьев бродил вокруг да около этого вопроса, не поднимая, а так сказать, шевеля его по разным поводам. Я уже упоминал, что высочайший указ от 26 февраля 1917 года о новой отсрочке созыва Государственной Думы был вписан князем Н. Д. Голицыным в заранее данный ему государем бланк с царской внизу подписью. Это удостоверил сам князь Голицын на допросе в заседании президиума, уже после освобождения своего из-под стражи. Когда он удалился из заседания, Муравьев сперва возбудил вопрос о подлоге, который, по его мнению, совершил Голицын. Мысль эту пришлось, разумеется, тут же бросить, так как подлога не может быть, если текст вписывается с ведома и согласия лица, вперед давшего свою подпись: никто из нас не имеет основания не верить князю Голицыну, что бланк с подписью государь дал ему именно для вписания туда указа о роспуске Думы, предоставив ему самому избрать для этого подходящий момент. Тогда Муравьев заговорил, что едва ли государь имел право отчуждать таким образом в другие руки свою

---

сенаторами Н. С. Крашенинниковым и бароном Н. Н. Медемом и другими, как-то мирит меня с памятью погибшего так ужасно. Я даже думал было вовсе выпустить все изложенное здесь о Добровольском, но отказался от первоначального намерения: личных счетов с покойным у меня не было, и я писал о нем не как о частном лице, а как о государственном деятеле. (Примеч. авт.)

верховную власть. Я тут же ответил, что ни один носитель верховной власти не может всюду поспеть сам и вынужден пользоваться исполнителями, а исполнители не граммофоны и, будучи живыми людьми и притом действуя на расстоянии от уполномочившего их государя, да еще иногда в обстоятельствах неожиданных, сложных и вызывающих необходимость в неотложных распоряжениях, неизбежно должны пользоваться известной свободой усмотрения. Но главное в своем ответе я приберег к концу: я сказал, что, если бы я и ошибался, вопрос все равно лишен значения, так как государь по русским законам суду за свои действия во всяком случае не подлежит. Ко мне присоединился еще кое-кто из членов президиума, и вопрос был брошен, но не оставлен.

Вновь он выплыл в виде измены царя и царицы родине. Насколько я мог понять, Муравьев считал правдоподобными все глупые сплетни, которые ходили о том, что царь готов был открыть фронт немцам, а царица сообщала Вильгельму II о движениях русских войск. Любовь к немцам, «влеченье, род недуга», таилась на крайней левой, но тогда всего злого искали только вправо. Помню, заговорили у нас о датском кабеле, по которому будто бы императрица сносилась с врагами. Оказалось, что кабель этот в начале войны перерезали сами немцы, а, когда мы его исправили, они испортили его вторично, после чего мы его уже так и бросили. Стало и для легковерных ясно, что по перерезанному кабелю ни о чем не переговоришь даже с Вильгельмом и что немцы не перерезали бы кабеля, если бы до этого он служил им такую важную службу. Но датским кабелем дело не ограничилось. В одной из послепраздничных газет, из тех листков, что республиканские убеждения смешивали с грубой развязностью и, простите за

резкость верного слова, хамством, а потому печатали тогда о царской семье разные гадости\*, появился как-то ряд телеграмм, за подписью «Алиса», с зашифрованными местами отправления и назначения, содержанием своим указывающих на измену. Аляповатость подделки бросалась в глаза, но Муравьев так и взвился. Возбуждено было особое предварительное следствие, которое производил (думаю, что помню безошибочно) харьковский судебный следователь Г. П. Гирчин, оставивший в моей душе самую лучшую о себе память как о человеке и деятеле. Следствие, поведенное опытной рукой, с первых же шагов выяснило жалкую подкладку появления этих телеграмм, про которую можно сказать словами Лермонтова: «все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». Сотрудник упомянутой газеты, молодой человек, ухаживавший за барышней, служившей на телеграфе, посулил ей, в поисках сенсационных материалов, коробку конфет за что-нибудь из ряда вон выходящее; барышня, спустя несколько дней, передала ему пачку телеграмм, о которых сказано выше. Молодой человек с торжеством показывал следователю, как он раздобылся этими драгоценными документами; но барышня на допросе смутилась, разволновалась и созналась в подделке. Да подделка была установлена с несомненностью и помимо ее сознания: номера телеграмм не отвечали действительным номерам того телеграфного

\* Гадости эти доходили даже до гнусных намеков на происхождение цесаревича. Глядя, как раскупаются такие листки, я невольно вспоминал двух моих знакомых молодых людей, считаемых окружающими за интеллигентов; оба они с убеждением говорили мне, что Петр Великий несомненно сын патриарха Никона, и были озадачены, когда я указал им, что Петр родился в 1672 году, а Никон был низложен и удален из Москвы в 1667-м. Уж очень падки русские люди на сенсации, а подумать и проверить, видно, считают совсем лишним. (Примеч. авт.)

отделения и за тот период времени, которые были выставлены на телеграммных бланках; кроме того, оказалось, что зашифровать место отправления нельзя. А главное, как вам нравится подпись: «Алиса»? Сочинительница, видно, великолепно знала, как может и должна подписываться императрица... уж не умею сказать, в каких случаях: тогда ли, когда она хочет подписаться запросто, по-дружески, или когда ей хочется прикрыться псевдонимом, но достаточно прозрачным для праздной публики, читающей понедельничную газету. Мне так и вспомнился раненбургский почтмейстер, старичок, мечтательный лгун, рассказывавший, как император Александр III угощал его чаем в Гатчинском дворце и заметил императрице с ужасом: «Маша, разве ты не знаешь, что Иван Фомич любит с ромом?» В обоих случаях осведомленность о частной жизни царей — прямо на редкость близкая. Тем не менее глава нашей комиссии еще не успокоился, и его опять было подняла попытка злополучной барышни взять свое сознание назад, как будто это сознание так уж было важно.

Я пишу теперь с улыбкой, настолько все это кажется, при взгляде назад, несерьезным, но тогда меня разговоры об ответственности государя и государыни очень волновали, звуча в моих ушах чем-то незаконным, невеликодушным, бестактным и к тому же бесцельным, каким-то переливанием из пустого в порожнее по явной своей безнадежности. Мое мнение о безнадежности всех поисков в этом направлении нашло себе высокое подтверждение в показании того авторитетного свидетеля, о котором я упомянул в самом начале своих воспоминаний (в подстрочной выноске). Допрашивал этого свидетеля в Европейской гостинице один из наших следователей, а какой



именно, память моя выронила: то представляется мне товарищ обер-прокурора Сената Гитц, то московский судебный следователь Баркал. Но самый допрос, на котором я присутствовал с начала до конца, вспоминается живо. Свидетель удостоверил, что императрица не выносила Вильгельма II, как и все члены владетельных немецких родов, с которыми тот обращался свысока, считая их наравне со всеми своими подданными. По словам свидетеля, он провел на императорской яхте «Штандарт» три дня с государем, государыней и Вильгельмом, когда происходило свидание императора в Балтийском порту\*. Вильгельм, как отозвался о нем свидетель, был большого мнения о своем остроумии, но острил неудачно, что мешало ему смеяться своим шуткам первому. Императрица за обедами, завтраками и ужинами была очень холодна с Вильгельмом, а шутки его и смех встречала пожиманием плеч, так что царь старался вслед за тем быть с гостем вдвое любезнее. Я нарочно привел это наблюдение человека, осведомленность которого стоит вне спора, чтобы подкрепить такое свое рассуждение: какая мать могла бы радеть двоюродному брату в ущерб своему сыну? Вопрос этот становится еще острее, если любовь к сыну велика и очевидна, а любовь к двоюродному брату по меньшей мере сомнительна.

Как бы то ни было, все попытки, правда, вялые и бессистемные, изблечить царя и царицу в государственном преступлении оказались покушением с негодными средствами.

Угнетали меня и разговоры в президиуме нашей комиссии о предании суду А. А. Макарова. Из узни-

\* Встреча российского императора Николая II с германским императором Вильгельмом II в Балтийском порту состоялась 22 июня 1912 года.

ков Керенского было два министра, при допросе которых я отказался присутствовать: Макаров и Маклаков. О Маклакове как министре внутренних дел, мнение мое отличалось решительно отрицательным характером: его приемы управления я считал и считаю прямо вредными; но мы были вместе в гимназии, были на «ты», бывали друг у друга, когда-то относились друг к другу с душевной приязнью, так что мой отказ едва ли покажется кому-либо странным. Что же касается Макарова, то я с ним не встречался до его назначения министром юстиции, но, конечно, слышал о нем неоднократно и даже задолго до того, как он стал министром внутренних дел. Общий отзыв о нем был как о формалисте и педанте. Многие называли его просто сухим человеком. По должности министра внутренних дел он прошумел на всю Россию своей речью в Государственной Думе о кровавом столкновении властей с рабочими на ленских приисках\*. Все это заставило меня невольно съезжиться, когда он заменил А. А. Хвостова на посту министра юстиции. Боязнь близких служебных отношений с «сухарем» заставила меня еще решительнее, чем бы я это сделал в других условиях, отклонить его предложение быть у него директором второго департамента министерства (по вопросам личного состава), заставила и горько пожалеть о том, что он не отпустил меня с должности прокурора Петроградской судебной палаты на должность обер-прокурора Гражданского кассационного департамента Сената. Но совместная моя

\* Я стараюсь никогда не спорить о словах и не цепляться за слова. Но в этой речи меня неприятно резнуло по сердцу нечто другое, а не слова: не знаю, правильно ли, но мне почудилось в ней черствое отношение к человеку и спокойствие при виде пролитой крови. (Примеч. авт.)

# Содержание

Хрусталева-Носарь Георгий Степанович (1877–1919) 89–97, 163

## Ц

Цветева Марина Ивановна (1892–1941) 10, 18

Ционглинский 231, 232

Цез Василий Андреевич (1820–1906/07) 207

## Ч

Чаплинский Георгий Гаврилович (1865–?) 188

Чебышев Алексей Алексеевич (1852 — после 1937) 237

Черепанов, капитан 68, 69

Черепнина Мария Альбертовна (1876–1958) 242

Чехов Антон Павлович (1860–1904) 10

Чубинский Михаил Павлович (1871–1943) 9, 280

## Ш

Шафров Михаил Николаевич 46

Шведер Николай Николаевич 96

Шевцов Николай Николаевич (?–1918) 156–158

Шишкин Николай Павлович (1827–1902) 35

Шмидт (Шмитт, Шмит) Владимир Петрович (1827–1909) 41

Шмидт Петр Петрович (1867–1906) 41

Штюмер Борис Владимирович (1848–1917) 83–85, 100, 128, 130, 238

Шуваев Дмитрий Савельевич (1854–1937) 84

Шульгин Л. А. 96

## Щ

Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) 8, 11–13, 74, 75, 125, 127, 134, 135, 182, 188, 192–194, 196–199, 202, 204, 230, 232, 237, 238, 263, 279–285

Щегловитова Мария Федоровна 263, 264

Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) 284

## Э

Эренберг Алексей Егорович (1863–1938) 57

Эрштрем Эдуард Андреевич (1862–?) 174

## Ю

Юсупов Феликс Феликсович, князь (1887–1967) 15, 135–138, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 154

Юсупова Ирина Александровна, графиня Сумарокова-Эльстон (1895–1970) 136

А. В. Лиманов. «Великий излом»

в восприятии Сергея Завадского... 5  
От издательства... 19

## На пути к революции. Из архива моей памяти

I... 23  
II... 28  
III... 33  
IV... 38  
V... 47  
VI... 65

## На великом изломе. Отчет гражданина о пережитом в 1916–1917 годах

Канун революции... 83  
1. Дело Хрусталева-Носаря... 89  
2. Дела о государственных преступлениях... 97  
3. Дело Манасевича-Мануйлова... 127  
4. Дело об убийстве Распутина... 135

## Под знаком Временного правительства... 159

1. В Министерстве юстиции... 171  
2. В верховной следственной комиссии... 225  
3. Вне Петрограда... 287

Именной указатель... 294